

НОВЫЕ/СТАРЫЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ: АНТИГОНА КАК КВИР

Промискуитетное послушание

Джудит Батлер

В своем исследовании истории интерпретаций Антигоны Джордж Стайнер ставит полемический вопрос, на который он так и не дает ответ: что произошло бы, если бы психоанализ принял за отправную точку Антигону, а не Эдипа?¹ Совершенно очевидно, что у Эдипа своя трагическая судьба, но судьба Антигоны определенно постэдипальна. Хотя ее братья были открыто прокляты ее отцом, действует ли это проклятье и на нее, и если да, то при помощи каких скрытых и тайных средств? Хор замечает, что нечто, связанное с судьбой Эдипа воздействует и на ее собственную судьбу, но какое бремя истории при этом она несет? Эдип узнает, кто были его отец и мать, но обнаруживает, что его мать также является его женой. Отец Антигоны – это ее брат, поскольку Иокаста является их общей матерью, а ее братья являются ее племянниками, сыновьями ее брата-отца Эдипа. Условия родства становятся безвозвратно двусмысленными. Является ли это частью ее трагедии? Ведет ли эта двусмысленность родства к фатальности? <...>

Антигона, не будучи вполне квир-героиней, эмблематизирует определенную гетеросексуальную фатальность, которая еще должна быть прочитана. В

© Columbia University Press, 2000

Перевод с английского Ольги Пироженко выполнен по изданию Judith Butler, *Antigone's Claim: Kinship Between Life and Death* (New York: Columbia University Press, 2000), Ch. 3.

то время как некоторые могут сделать вывод, что трагическая судьба, от которой она страдала, является трагической судьбой всех и каждого, кто бы ни трансгрессировал границы родства, которые обеспечивают интеллигентность культуры, ее пример приводит к возникновению противоположной критической интервенции: что в ее действии является фатальным для гетеросексуальности в ее нормативном смысле? И каким другим способом организации сексуальности может дать начало рассмотрению этой фатальности? <...>

В свете сказанного, вероятно, интересно отметить, что Антигоне, завершающей эдипову драму, не удастся создать гетеросексуальное окончание этой драмы, и что это может подразумевать направление для психоаналитической теории, которая приняла бы Антигону за свою точку отсчета. Конечно, она не достигает другой сексуальности, такой, которая является *не* гетеросексуальностью, но она, по-видимому, развенчивает гетеросексуальность, отказываясь сделать то необходимое, чтобы выжить для Гемона, отказываясь стать матерью и женой, шокируя публику своим неустойчивым гендером, принимая смерть как свою брачную спальню и идентифицируя свою могилу как «глубоко выкопанный дом» (*kataskaphes oikesis*). Если любовь, к которой она движется по мере своего продвижения к смерти, – это ее любовь к брату, и, таким образом, к отцу, то это также и любовь, завершением которой может быть только ее исчезновение, которое вообще не является завершением. Поскольку брачная спальня отвергается Антигоной в жизни и преследуется в смерти, она получает метафорический статус и ее конвенциональное значение как метафоры трансформируется в явно неконвенциональное. Если могила является брачной спальней, и могиле, а не браку, было оказано предпочтение, то могила означает само разрушение брака, а термин «брачная спальня» (*nuptheion*) репрезентирует отрицание самой ее возможности. Слово разрушает свой объект. Отсылая к институции, которую оно называет, слово производит деструкцию этой институции. Разве это не операция амбивалентности в языке, которая ставит под вопрос суверенный контроль Антигоной своих действий?

Хотя Гегель заявляет, что Антигона не действует бессознательно, вероятно, ее бессознательное оставляет разного рода следы, которые становятся читаемыми именно в ее муках референциальности. Ее практика именованья, например, подрывает ее собственные провозглашаемые цели. Когда она заявляет, что действует в соответствии с законом, который отдает предпочтение ее наиболее возлюбленному брату, и, судя по этому описанию, она имеет в виду «Полиника», она имеет в виду нечто большее, чем она утверждает, так как этим братом мог бы быть и Эдип, и мог бы быть Этеокл, и нет ничего в номенклатуре родства, что могло бы с успехом свести ее размах референции к одной личности, Полинику. В какой-то момент хор пытается напомнить, что у нее не только один брат, но она продолжает настаивать на этой единственности и невозпроизводимости этого условия родства. Фактически, она стремится ограни-

чить воспроизводимость слова «брат» и связать его исключительно с личностью Полиника, но она может сделать это только проявляя бессвязность и непоследовательность. <...>

Этот термин продолжает относиться к тем другим, которых она исключила из сферы его применения, и она не может свести номенклатуру родства к номинализму. Ее собственный язык превышает и побеждает ее заявляемое желание и, таким образом, манифестирует нечто, что лежит за границами ее намерений, что принадлежит той особой судьбе, которую желание претерпевает в языке. Таким образом, она не может зафиксировать радикальную единственность своего брата посредством термина, который, по определению, должен быть переносимым и воспроизводимым, для того, чтобы вообще означать. Таким образом, язык рассеивает желание, которое она хочет связать с ним, обрекая ее на промискуитет, который не может быть ей присущ.

Таким способом Антигона не достигает эффекта суверенности, к которому она, очевидно, стремится, и ее действия не являются вполне сознательными. Ее подталкивают слова, давящие на нее, слова ее отца, обрекающие детей Эдипа на жизнь, которая не должна проживаться. Меж жизнью и смертью она уже живет в могиле, еще не будучи в нее изгнанной. Ее наказание предшествует ее преступлению, и ее преступление становится поводом для его литературализации.

Как мы понимаем это странное место существования между жизнью и смертью, говорения именно из этой неустойчивой границы? Если она в каком-то смысле мертва, и все еще говорит, то она именно та, у которой нет места, и которая, тем не менее, стремится заявить о своем месте в речи, то неинтеллигибельное, которое возникает внутри интеллигибельного, позиция внутри родства, которая не является позицией.

Хотя Антигона пытается зафиксировать родство посредством языка, который определяет изменчивость условий родства, ее язык теряет свою последовательность, но сила ее заявления в результате не теряется. Табу инцеста не смогло воспрепятствовать любви, которая должна была возникнуть между Эдипом и Иокастой, и оно, очевидно, опять оказалось поколеблено в случае Антигоны. Осуждение следует за действиями Эдипа и его признанием, но для Антигоны осуждение действует как исключение, определяя с самого начала жизнь и любовь, которые у нее могли бы быть.

Когда табу инцеста действует *в этом смысле*, чтобы воспрепятствовать любви, которая не является инцестуальной, то, что производится, является прозрачной областью любви, любви, которая упорствует, несмотря на свою запрещенность в онтологически приостановленном режиме. В результате возникает меланхолия, которая посещает живущих и любящих за пределами того, что может быть прожито и за пределами сферы любви, где недостаток институциональных санкций вынуждает язык к постоянным катахрезам, демонстрируя не только то, как термин может продолжать свое значение за рамками его

конвенциональных ограничений, но и также то, как эта призрачная форма сигнификации облагает жизнь данью, лишая ее чувства онтологической уверенности и долговечности внутри публично конституированной политической сферы. <...>

Ее меланхолия, если ее можно так назвать, по-видимому, состоит в этом отказе горевать, который осуществляется теми же публичными методами, с помощью которых она настаивала на своем праве горевать. Ее требование именованья может также быть знаком присутствия меланхолии в ее речи. Ее громкие заявления о горе предполагают область того, о чем невозможно горевать. Настаивание на праве публично горевать уводит ее от женского гендера в высокомерие, в эту явно мужскую эксцессивность, которая заставляет стражников, хор и Креонта вопрошать: «Кто же здесь мужчина?». <...>

Кто же, в таком случае, Антигона, представленная на этой сцене, и какой вывод мы можем сделать из ее слов, слов, которые становятся драматическими событиями, перформативными актами? Она не принадлежит человечеству, но говорит на его языке. Хотя ей запрещено действовать, она, тем не менее, действует, и ее действие вряд ли является просто приспособлением к существующим нормам. И действуя так, как та, которая не имеет прав действовать, она переворачивает лексикон родства, который является предусловием человечества, имплицитно ставя нам вопрос, чем эти предусловия должны быть на самом деле. Она говорит на языке именованья, из которого она исключена, участвуя в языке заявления, с которым никакая окончательная идентификация невозможна. Если она и человек, то человек, вошедший в катахрезу: мы уже более не знаем ее подлинного назначения. И до тех пор, пока она использует язык, который никогда не может ей принадлежать, она функционирует как хиазм в лексиконе политических норм. Если родство – это предусловие человечества, тогда Антигона – это возможность нового поля человечества, которое достигается через политическую катахрезу, ту, которая случается, когда нечто меньшее, чем человек говорит как человек, когда гендер смещается, а родство основывается на своих собственных фундирующих законах. Она действует, она говорит, она становится той, для которой акт речи – это фатальное преступление, но эта фатальность превышает ее жизнь и вступает в дискурс интеллигибельности как его собственная многообещающая фатальность, социальная форма его аберрантного, беспрецедентного будущего.

¹ George Steiner, *Antigones* (New Haven: Yale University Press, 1996), p. 18.